

Мы не знаем, что такое свобода. — 1989. — 21 мая

СЕЙЧАС трудно и помыслить, что каким-нибудь двадцать пять — тридцать лет назад мы не знали Фазилы Искандера. Трудно не просто потому, что часто кажется, будто любимые книги были всегда; но потому, что до того, как появились «Созвездие Козлотура» и «Сандро из Чегема», «Бармен Адгур» и «Маленький гигант большого секса», «Ремзики» и «Ширококобый», мы, можно сказать, не знали Абхазию — не слышали о Чике и дяде Сандро, не бывали в Чегеме и в Мухсе, не видели Мольного Ореха... Писателю удалось создать свою страну — такое в литературе выпадает немногим.

Сегодня поэт, прозаик, эссеист Фазиль Искандер в гостях у читателей «МК».

— Фазиль Абдулович, существует такая легенда, что вы из тех писателей, у кого напечатана лишь меньшая часть написанного...

— Эта легенда соответствует действительности. Не так давно у меня напечатаны две повести «Из стола» — «Старый дом под кипарисом» и «Кролики и удавы», и еще одна повесть лежит в «Знамени», тоже давно написанная, — надеюсь, она будет опубликована. Тот вариант «Сандро из Чегема», который печатался в 73-м году в «Новом мире», сильно искажен и усечен, и лишь главы, напечатанные в последние годы, дошли до читателя в хорошем виде. Сейчас в издательстве «Московский рабочий» выходит трехтомное издание «Сандро из Чегема» — обещали выпустить к лету. Это около восьмидесяти печатных листов, то есть самое полное издание «Сандро» из всех, гораздо полнее, чем в «Ардисе». Ардисовское издание было самым полным восемь — десять лет назад, с тех пор я написал ряд новых глав. Единственный огорчительный момент — вместо обещанных 100 или даже 150 тысяч тиража будет всего 50 тысяч. Но сие от нас не зависит. Может быть, другие издательства дадут тираж побольше. Как мне сказали, полиграфическая база не справляется...

— Как по-вашему, «Сандро из Чегема» действительно роман или это жанровое обозначение условно?

— Если вы прочтете книгу целиком, то увидите, что каждая новелла в ней самостоятельна, но есть и какой-то общий сюжет — история Чегема, история рода, его взаимоотношений с миром. Мне кажется, в «Сандро из Чегема» есть единство мира, единство художественной задачи, единство судеб героев, которое делает роман романом, хотя эти судьбы обозначены пунктиром, а не идут сплошным. Но если это и роман — а я думаю, что все-таки роман, — то не очень традиционный. «Сандро из Чегема» — центральное мое произведение, и такой тип народного хитреца, такой двойственный характер, как у Сандро, — он чуть-чуть, может быть, Дон-Кихот, чуть-чуть его слуга Санчо Панса — я встречал в жизни, отчасти мой дядя был таким, а с него писал Сандро, но потом, конечно, развил этот образ. Считаю, что это мое главное создание.

— Вы недавно избраны народным депутатом СССР от Абхазии. Какие надежды вы возлагаете на органы власти нового созыва? Сможете ли вы в роли депутата как-то повлиять на будущее Абхазии, на решение национальных проблем?

— Думаю, что каждый честный литератор в нашей стране объективно всегда боролся за демократизацию жизни и, в общем-то, за парламентской строй, но у меня никогда не было мысли, что я сам буду заседать в парламенте. Когда меня выдвинули, я сначала дал телеграмму с отказом, но потом меня убедили, что этим я сбросил большой груз с плеч нашего местного начальства, что я напрасно это сделал. И тогда я дал согласие баллотироваться.

Если в состав парламента войдут люди, которые стоят за перестройку, даже если они окажутся в меньшинстве и если парламент будет нормально работать, то страна будет слышать уже не один, а два голоса. Эти люди смогут вовремя возразить, когда будут принимать решения недемократические, негуманные и, грубо говоря, просто глупые. Мы этой глупости уже нахлебались — достаточно сказать о кровавой глупости афганской войны. Если бы у нас действительно был парламент, то этой войны не могло бы быть. Она настолько нелепа, бессмысленна, что любой орган народолюбивости отверг бы ее с самого начала.

Что касается абхазских проблем, то я думаю, что это, в общем-то, те же проблемы, которые стоят перед всей страной. Везде есть какой-то местный изгиб, местный колорит, но проблемы эти всегда глубоко социальные, и, помогая разрешить их в масштабе страны, представитель Абхазии сможет принести пользу и Абхазии, и любому другому краю. Я не вижу здесь какого-то очень уж большого национального своеобразия. Повсюду у нас царствовали беззаконие, глупость, продажность. Если все это хотя бы уменьшится, будет под угрозой гласности, возмездия закона, то обстановка сама собой нормализуется. Когда человека лишают социального достоинства — а это в нашей стране происходило в течение огромного количества лет, — то раздуваются, как раковая опухоль, преувеличенное национальное достоинство: люди бесознательно начинают преувеличивать национальный момент. Это своего рода иллюзия — будто бы то, что не может быть решено правовым путем, может быть решено в национальном порядке. Человеку, который видит беззаконие, начинает казаться, что если его будет судить судья его национальности, то он будет судить более справедливо. Но, конечно, дело не в этом.

Мне ясно представляется, что нацио-

нальный вопрос — это есть заграничный в биологический социальный вопрос. Разрешив социальный вопрос, вернув человеку его правовое достоинство, мы добьемся того, чтобы национальная опухоль рассосалась.

— Как вы полагаете, возможен ли из сегодняшнем этапе нашего развития возврат к старому?

— В принципе — почему бы этому не случиться? Все может быть. Хрущев ведь был отстранен... Пока демократические институты у нас есть и действуют, то еще очень слабо, они только зарождаются. Но

если говорить о возвращении к сталинскому тоталитаризму, то этого, думаю, уже не может быть. Ведь сталинизм надвигался не сразу, а постепенно, он использовал некую революционную инерцию народа — тогда во все сферы жизни вошел новый класс, класс людей в буквальном смысле слова от сохи, политически неопытных, наивных, неразвитых, очень доверчивых и в то же время проникнутых каким-то революционным энтузиазмом. Обмануть их, манипулировать ими было сравнительно легко. А если они потом и опомнились, то было уже поздно — уже был тотальный страх и опереться было не на кого.

Мне кажется, условной датой окончательного перехода к тоталитаризму можно назвать 1927 год, когда начали отменять изд. И с 1927 по 1929 год случилось все, что случилось. Россия — крестьянская страна, и, я думаю, все, что произошло, — это следствие того, что не был разрешен крестьянский вопрос. Ведь в 1861 году насильственного, полонического освобождения крестьян не было — выкупи и многие другие тормоза мешали этому великому акту реформы. И реформа суда — а в России суд присяжных был едва ли не из самых передовых в мире, — была и в начале XX века искажена. Победу Октябрь, победу в гражданской войне над белой армией более подготовленной, чем Красная, я могу объяснить только тем, что крестьяне в солдатской форме повели бои, а не в крестьянской. Крестьяне получили от них землю. Неп спас большевиков от разгрома, потому что политика продразверстки, принесшая народу огромный ущерб, была неумолима этим самым крестьянам, выигравшим гражданскую войну, давшим власть большевикам. Решался вопрос: считать ли крестьян — участниками рабочего класса, его врагами или союзниками — но сама эта постановка вопроса была, по моему, схоластической и наивной — именно потому, что большевики получили власть от крестьянина.

Конечно, неп должен был привести и приводил к частичной передаче власти народу. И если бы неп развивался дальше, то такая тотальная диктатура, какая была при Сталине и затем фактически до наших дней, не могла бы существовать. Ту полноту власти, которую дает диктатура, нельзя держать все время — это приводит к кризису системы, не дает возможности по-настоящему работать миллионам людей. Неп был разгромлен, я думаю, не потому, что руководство боялось мелкобуржуазной стихии, — эту стихию можно было держать в определенных рамках, а потому, что неп в своем развитии имел в виду сознательную частичную потерю руководством его власти, особенно в экономике, то есть то, что сейчас и должно происходить. Нигде в социалистических теориях не сказано, что абсолютная и беспрерывная полнота власти должна принадлежать руководству. Социализм, я считаю, это и есть постепенное растворение власти в народе. Поэтому и сегодняшние наши дела связаны с безусловной частичной потерей власти «верхами».

Вот почему, мне кажется, сейчас психологически невозможно возвращение к тоталитарной власти, хотя зигзаги, конечно, могут быть. Невозможно бесконечно держать народ на одних обещаниях. Эта этика и философия нашей власти состояла в культе будущего: ну вот еще пострадаем, еще потерпим немного, чтобы потом прийти к справедливости, к достаточному обилию благ. Но получилось все не так. И сейчас невозможно, на мой взгляд, тоталитаризм как твердый долгосрочный принцип.

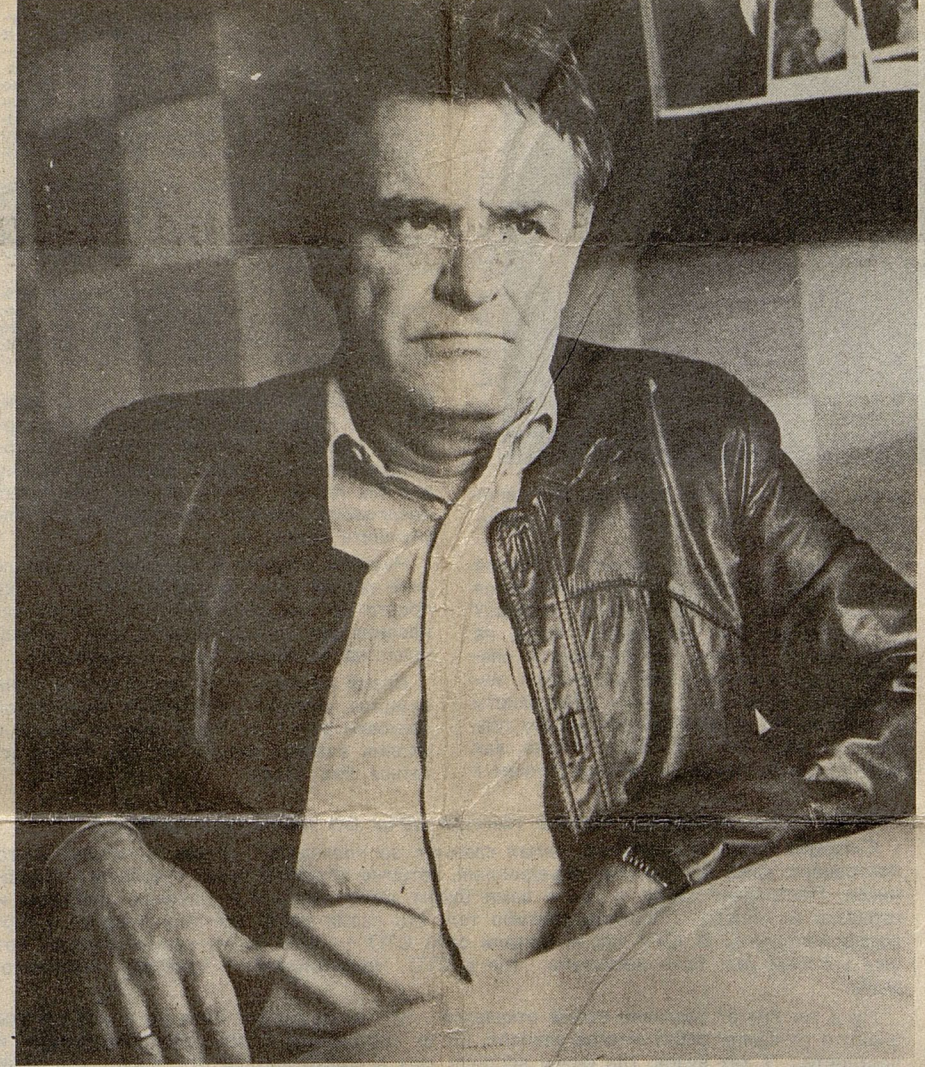
Тот путь демократизации, на который, хотя со страшным опозданием, вступила наша страна, естествен. Часто говорят, что у России свой особый путь. Думаю, никакого особого пути в этих вопросах нет. Разумеется, демократический строй в каждой стране учитывает национальные традиции. Но демократия на определенном уровне развития общества так же закономерна, как то, что вода при нуле градуса замерзает, а при ста — кипит; необходимость демократии — это такая же научная истина в России, как и в Америке. Даже самая закрытая страна в мире — Япония — пришла к демократии. И нам предстоит этот естественный путь, путь возвращения к общечеловеческой норме.

— Сейчас многие писатели активно занимаются экологической проблематикой. Как вы относитесь к этой дополнительной нагрузке на литературу?

— Конечно, экологическая катастрофа должна быть предотвращена, это совершенно ясно. Но дело в том, что литература может только ставить вопросы, разрешать они должны на государственном уровне. Вообще же, мне кажется, главное — это экология человека. Если мы в нашей стране перестроим нашу социальную систему, то она постепенно все самые острые экологические пробле-

мы разрешит. Для меня важнее кричащих статей о Байкале такая система жизни, чтобы инспектор мог подойти к берегу Байкала, сунуть в воду измеритель и сказать директору завода: «Чтобы через два месяца этого не было, иначе завод закрою». А когда директор скажет, что он выполняет правительственное задание, то инспектор ответит ему: «А разве вам неизвестно, что в России закон выше правительств?». А то в Белоруссии один инспектор упрекнул директора завода, что завод этот загрязняет город, и директор пригрозил: «Видишь этот белый телефон? Вот позвоню по нему, и тебя в городе не будет». В этом важнейшая сторона проблемы: закон должен стать выше власти.

— Мне кажется, кино — это все-таки искусство совершенно самостоятельное и, в общем-то, достаточно далекое от литературы. Поэтому я к работе сценаристов отношусь довольно спокойно. Я как писатель отвечаю за свой текст, ну а дальнейшая его интерпретация бывает подчас странной, и ты видишь совсем не то, что написал. Но если это принять и интересно, то я готов это принять. Было уже несколько кинокартин по моим вешам, но соответствие моей интонации, моему взгляду, по-моему, еще не было. Часто режиссеры говорят мне, что сделать кино по моей прозе очень легко, но потом почему-то, в процессе работы, обязательно возникает трудность. Думаю, дело в том, что тайна прозы — в слове. Может быть, у меня это как-то утрированно проявляется. Конечно, теоретически возможно большее или меньшее соответствие первоисточнику. Но надо, чтобы режиссер был по натуре близок писателю. Пока получалось так, что режиссеры были достаточно интересны сами по себе, но не близкие моей стилистике. Я думаю, что из наших режиссеров ближе всех ко мне — Георгий Даниеля. Он, кстати, собирался ставить «Созвездие Козлотура» — я уже потом узнал от него об этом, — но один из тогдашних секретарей ЦК Компартии



Писатель Фазиль ИСКАНДЕР: «Художник должен сам свободно выбирать тот путь, по которому он идет»

— Вы выступили с несколькими неожиданными для вас аллегорическими повестью «Кролики и удавы». Как возник ее замысел? Собираетесь ли вы писать в этом жанре еще?

— Не думаю, что напишу другую вещь в таком аллегорическом роде, но заранее зарекаюсь не могу. Повесть «Кролики и удавы» я написал как-то неожиданно. Сидел где-то в Доме творчества и писал статью. И как сейчас помню, выплыла у меня в статье такая фраза: «Наш страх — их гипноз, их гипноз — наш страх». И вдруг появилось желание как бы расшифровать эту метафору. Я тут же начал писать, еще не зная, во что все это выльется. Было это примерно лет пятнадцать назад.

— А статью написали?

— Нет, статью забросил...

Может быть, главное, что меня занимало в этой повести, — то, что кролики приносились к подлым обстоятельствам и они сами не хотят свободы. Свободу нельзя принести извне, пока она не созрела изнутри. Кролики хотят и быть свободными, и воровать, а когда Задумавшийся говорит им, что с воровством придется покончить, они отворачиваются от него. Они еще не созрели для свободы, ответственность свободы пугает их.

Проблема существования удавов связана с проблемой желания кроликов воровать капусту. Чтобы властвовать над кроликами, Король разрешает им воровать, и этим создается равновесие, равновесие деспотии: низам арут, а они воруны в ответ. Вот это главная проблема.

— Как вы относитесь к сценаристам и драматургам, которые берут за основу ваши произведения? В частности, что вы думаете о фильме «Воры в законе» и о шуме вокруг него?

— Мне кажется, кино — это все-таки искусство совершенно самостоятельное и, в общем-то, достаточно далекое от литературы. Поэтому я к работе сценаристов отношусь довольно спокойно. Я как писатель отвечаю за свой текст, ну а дальнейшая его интерпретация бывает подчас странной, и ты видишь совсем не то, что написал. Но если это принять и интересно, то я готов это принять. Было уже несколько кинокартин по моим вешам, но соответствие моей интонации, моему взгляду, по-моему, еще не было. Часто режиссеры говорят мне, что сделать кино по моей прозе очень легко, но потом почему-то, в процессе работы, обязательно возникает трудность. Думаю, дело в том, что тайна прозы — в слове. Может быть, у меня это как-то утрированно проявляется. Конечно, теоретически возможно большее или меньшее соответствие первоисточнику. Но надо, чтобы режиссер был по натуре близок писателю. Пока получалось так, что режиссеры были достаточно интересны сами по себе, но не близкие моей стилистике. Я думаю, что из наших режиссеров ближе всех ко мне — Георгий Даниеля. Он, кстати, собирался ставить «Созвездие Козлотура» — я уже потом узнал от него об этом, — но один из тогдашних секретарей ЦК Компартии

— Фазиль Абдулович, что вы думаете о той полемике, которая идет сейчас в литературе и вокруг нее? Например, писатели семи писателей в «Правде» против «Огонька», о более раннем письме Белова, Бондарева и Распутина по поводу рок-музыки и о споре между «Огоньком» и «Нашим современником»?

— Я с большим уважением отношусь к творчеству Виктора Астафьева и некоторых других авторов «Письма семи». Но сама форма обращения в главный печатный орган партии представляется мне безвкусной. Что-то вроде обращения к барину за помощью... Это как будто бы в России столько действительно трагических проблем! Я совершенно не поклонник этой музыки, но не считаю, что рок играет существенную роль в воспитании молодежи. Куда опасней для нашей страны другой плод мировой культуры — национализм во всех его разновидностях.

Относительно полемики «Нашего современника» с «Огоньком». Должен сказать, позиция «Нашего современника» весьма уязвима. Поясно на примере из собственного опыта — мне это проще всего. Однажды мне дали прочесть напечатанную в этом журнале рецензию на «Кроликов и удавов». Автор рецензии в слегка завуалированной форме намекает читателю, что под кроликами я имел в виду русских. Меня поразило такое ничем не доказанное утверждение. Это философская сатирическая сказка, и тут нации не играют никакой роли. Если кролики — русские, то кто такие удавы? туземцы, обезьяны? Получается нелепость. С таким же успехом можно утверждать, что в библейских словах «а Васька слушает да ест» Крылов имел в виду русский национальный характер. Я не думаю, что автор рецензии искренне ошибался, это плод намеренной тенденциозности, свойственной многим статьям этого журнала.

— Ваш роман «Сандро из Чегема» выдвинул на соискание Государственной премии СССР. В свое время на эту премию была представлена повесть «Созвездие Козлотура», но премии не получила. Говорят, дело было в том, что вы тогда под писали письмо в чью-то защиту...

— Да, так оно и было. Я подписал тогда одно из писем в правительство относительно каких-то несправедливых акций — может быть, какого-то очередного ареста, я не помню уже, потому что таких писем я много подписывал. И я вылетел из соискателей, и не только оттуда, о чем насколько не жалею, потому что считаю: то письмо было гораздо важнее.

— А какого вы мнения о критиках, которые много о вас писали, — Наталье Ивановой, Бенедикте Сарнове, Станиславе Рассадине?

— Ну, к критикам, которые меня хвалят, я отношусь очень доброжелательно. И даже представляются они мне очень проницательными людьми...

— Булат Окуджава называет вас в числе своих друзей. А как вы оцениваете значение его творчества?

— Что я могу сказать? Окуджава — столь популярный человек, что не мне его представлять. Я считаю, что он прекрасный поэт, он, собственно говоря, создал этот особый жанр, особое место в нашей русской поэзии, жанр свободной песни, которая в самые худшие годы призвала нас к добру, давала нам глоток кислорода, глоток свободы, человечности. Окуджава — самый талантливый, на мой взгляд, человек во всей этой литературе, которая устно, по гитарам, по каскадам расходилась по стране и делала свое огромное доброе дело.

— А как вы относитесь к творчеству Солженицына — не касаясь его политических воззрений?

Меня в свое время — и до сих пор я придерживаюсь такого же мнения — больше всего потряс у Солженицына рассказ «Матренин двор». Помню, я прочел его и у меня в буквальном смысле голова закружилась — я почувствовал, что присутствую рядом с великой русской литературой. Считаю этот рассказ шедевром. «Ротозубый корпуст», «В красном море» — хотя это не совсем ровная вещь, в ней есть замечательные страницы, но есть и более слабые). «Случай на станции Кречетовка», очень поэтические рассказы — «Крохотки», все это в целом огромное явление в литературе.

Почему Солженицынская вещь, которая меня несколько разочаровала, — «Август четырнадцатого». Есть такой тип писателей — хотя, может быть, это очень спорная мысль, — которые недостаточно одарены силой творческого воображения. Боясь, что Солженицын из числа таких, я хорошо даю то, что они видели сами, или подобное этому. Вот «Архипелаг ГУЛАГ» — огромной силы книга, там есть и личный опыт автора, и опыт, очень близкий к нему, и потому это книга фактографическая. В каких-то местах в ней много ошибок, но, несмотря на это, человек написать такую, можно сказать, энциклопедию лагерей и тюрем, энциклопедию страданий и так почти не по силам. Мне кажется, мощь Солженицына именно в том, что он пишет о личном пережитом или близком к этому.

— Как вы полагаете, Фазиль Абдулович, насколько художник XX века может быть аполитичен?

— Я считаю, что художник должен сам свободно выбирать тот путь, по которому он идет. Есть эпохи — такие, как наша, — когда добро и зло настолько политизированы, что, теоретически говоря, быть вне политики — это почти равнозначно тому, чтобы писать вне добра и зла. И если серьезное, глубокое художественное произведение в наше время можно представить вне политики, то все творчество писателя — с трудом. Равно как, впрочем, и чрезмерная аполитизированность, — есть в этом какой-то перебор. Конечно, каждый раз этот вопрос должен решаться конкретно.

Вот «1984» Оруэлла — конечно, это насковье политическая книга. Даже если бы Оруэлл ничего не писал, не писал бы, он был бы замечательным писателем, потому что написал эту великую антиутопию, сумел увидеть то, что не могли увидеть другие (хотя до него такая антиутопия, ну, может быть, немного более схематичная, была у нас — «Мы» Замiatина). Но, что являет собой одну из величайших, пожалуй, глубоких и трезво, показывает, что политическая литература не означает отсутствия философской глубины. У нас часто путают политически насыщенные произведения с политическими однодневками, а это совершенно разные вещи.

Возможны, конечно, и другие решения. Фет, например, по-своему, замечательный

поэт, но он глубоко аполитичен в своем творчестве. Можно сетовать на это, но он тактик. А ведь во времена Фета была политическая цензура, и Фет, будучи в своем роде большой политической смелостью. Над ним смеялись и справа, и слева — Россия была тогда охвачена гражданскими страстями. При всем таланте Фета его стихам, я бы сказал, часто не хватало какой-то остроты, какой-то перда, хотя он создал ряд шедевров, и вообще замечательный поэт. Но, думаю, тут главное, чтобы не какая-то внешняя сила заставляла писателя быть политическим или аполитичным. Для писателя главное — это состояние, это внутреннее состояние, внутреннему закону.

— В чем вы видите генетическое, что ли, различие между нашей литературой и зарубежной?

— Я вообще-то не специалист по зарубежной литературе... Но если говорить о нашей литературе, о лучшей ее части — о таких писателях, как Платонов, Булгаков, Бабель, Гроссман, Домбровский, о таких поэтах, как Ахматова, Цветаева, Мандельштам, то есть о тех художниках, которые были в опале, то тут наблюдается своеобразный эффект литературы, написанной вопреки уставу, вопреки той атмосфере, которая окружала писателей. Эта атмосфера во всяком случае не для художника сравнительно средних способностей — он может деформироваться, причем не только под давлением страха, но и в своем сопротивлении страху может принять не свойственные ему формы. Но есть в нашем воздухе и что-то такое, чего не может быть в другом. Когда читаешь «Реквием» Ахматовой или некоторые стихи из «Воронежских тетрадей» Мандельштама, понимаешь, что они не могли быть созданы каким-нибудь английским писателем, какой бы у него ни был талант. Это то движение, которым распахивается закрытая дверь, та динамика, та художественная своеобразная сила стремления к свободе, которые не могут проявиться там, где нет несвободы. Англичанин не мог бы написать о Черчилле такие стихи, какие Мандельштам написал о Сталине, — нет того напряжения, того смертельного риска, который Мандельштам, когда писал, подсознательно чувствовал. Отсюда невероятная сила эмоционального удара.

Если говорить в целом, то российская литература — и классическая тоже — в чем-то всегда была гораздо серьезнее, чем западная. Неразрешенность многих проблем государственной жизни переносилась в литературу, эти проблемы разрабатывались в литературе, отсюда основательность, глубина, но с другой стороны, может быть, нашей литературе не хватало элементов игры, элемента чистого юмора — хотя у нас есть юмор Гоголя, Достоевского. Тут диалектика единства: мне кажется, то, что является огромным достижением, может иметь и свою отрицательную сторону. Русская литература требует от читателя слишком определенных действий и определенных позиций. Европейская литература в этом смысле более свободна — этого требования в ней нет.

Еще одна знаменитая фраза Достоевского: то, что для европейца теория, для русских мальчиков и русских профессоров руководство к действию. Незрелость социальных форм жизни приводила к тому, что в нашей литературе может быть был некоторый избыток серьезности и трагичности. Может быть, в борьбе за свободу ей самой немножко не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности, ее серьезности и трагичности, может быть, не хватало свободы, это я в том смысле говорю, а каком Чехов говорил, что нашей литературе не хватало свободы. Боясь за свободу, она, может быть, была слишком мобилизована этой борьбой. Не хватало той высокой неопределенности, которая не требует от человека точных, ясных позиций. Это в политике очень важные и ясные позиции, а дело литератора, скорее, задавать вопросы, чем отвечать на них. Русская литература при вечной наивности,